

На рассвете меня опять разбудил телефонный звонок импортного производства, дающий надежду на что-то хорошее. Однако и в этот раз на противоположном конце провода топтался неугомонный Ливик Генделист, проведший остаток ночи, как выяснилось, не в баре Интерклуба моряков заграничавания у кружки пива и красных, как первомайские транспаранты, раков, а за познавательной книжкой.

— Оки-доки! — доложил он. — Полное распознавание слова «Амдерма» у нас состоялось. Пострадавших нет.

— Древнее слово?

— Древнее, древнее. Почитай, со времен динозавров.

— Динозавры вымерли, Ливик.

— А слово осталось.

— Ну, расшифровывай.

— Чего расшифровывать? — понес на скоростях Ливик. — Я тебе цитатку выложу, как из учебника. «До наших дней,— говорится в книжке,— дошло предание о происхождении названия поселка Амдерма. Однажды охотник-ненец, плывший на лодке по Карскому морю, увидел на побережье многочисленную залежку ластоногих. И, пораженный, воскликнул «Амдерма!». В переводе это — «лежище моржей». Потом первопроходец—ненец привел сюда своих родичей. Они поставили на берегу чумы, образовали стойбище. С той незапамятной поры это местечко так и называется — «Амдерма».

— Ливик! А на каком языке воскликнул ненец? Не сказано?

— На древнем, должно быть.

— Каком — древнем?

— Матерном, полагаю.

— Не городи чепухи!

— Почему — «чепухи»? Слушай сюда! Продаю информ-бля-шку на первую полосу. В последний раз, когда я был в Интерклубе, там выступал Ролан Быков.

— Вчера там выступали заезжие лабухи, Ливик! Забыл?

— Не лови на слове. У меня присловье такое, для девочек, чтобы вешать лапшу на уши.

— Мне не вешай.

— Тогда гони уши к пониманию, слушай сюда.

— Слушаю.

— Знаешь, что рассказывал Ролан Быков? А рассказывал он вот что... Ладно, моему изложению на вольную тему ты не доверяешь. Оки-доки! Секундочку терпения: раз-цвай-драй! Открываю журналистский блокнотик, и... Теперь слушай. Запись — как с магнитофона «Яуза». Читаю вслух: «чтобы правдиво сыграть роль скомороха у Тарковского в том самом «Рублеве», что на наши экраны не вышел, Ролан Быков по благу пролез в Спецхран, где хранились оригинальные тексты этих шутников-затейников пятнадцатого запойного века. И что? Последние волосы потерял от удивления! Древние тексты наших предков-юмористов представляли собой сплошной русский мат». Конец записи — в вольном моем изложении. Годится на первую полосу?

— Ливик, я интервью с Роланом Быковым напечатал еще три недели назад.

— С матом?

— Без мата.

— Оки-доки! С тобой все понятно. В современную газету с древним языком — ни-ни! Выпрут. Но под ледяным солнцем чем еще греться ненцу? Какой к нему там древний язык может пожаловать, кроме русского мата?

— Ливик! У нас только один древний язык остался, да и тот под запретом. Не соображаешь?

— Динозавры вымерли, а язык остался. Опять за свое. Так, что ли?

— Кстати, Ливик. А динозавры тут при чем?

— Динозавры там, под землей, в вечной мерзлоте. Они всегда «при чем», если покопаться в прошлом.

— Об этом тоже есть в книжке?

— В книжке больше о мамонтах,— пояснил Ливик.

— А о ненцах нет ли чего путного? Откуда они явились, от кого произошли?

— Все мы произошли от Адама и Евы. Что тут неясного?

— И динозавры?

— Динозавры вымерли...

— А евреи остались,— машинально выдохнул я.

— Вот и поезжай к вымершим. Вдруг живого динозавра откопаешь среди вечной мерзлоты.

— Мне эти «живые» уже два года не выправляют визу в загранку. Это мне — морскому журналисту! А я ведь тоже не прочь сходить в Канны — на фестиваль. Заглянуть на виллу Бельведер в Грассе, где Бунин написал «Жизнь Арсеньева», за что и получил Нобелевскую премию в тридцать третьем году. Или отчего не махнуть в соседнюю Ниццу — посмотреть знаменитые витражи Марка Шагала? А оттуда — небольшая ходка вдоль моря, километров на сто с лишком — и, пожалуйста, Монако, Монте-Карло, казино, и загребай шальные деньги в рулетку.

— А к северному сиянию — слабо? К белым медведям, в Арктику, можно сходить и без визы.

— Но не к африканским бабуинам...

— По бабам и в Африку нельзя. Се-ла-ви! Такая она, житуха!

— Полное пузо, но рваное ухо,— срифмовал я.

По прибытию в Заполярье, у входа в аэровокзал, на гулливеровом по размеру щите, выставленном для повышения самообразования туристов и аборигенов, мы прочитали—запомнили: «Мурманск — крупнейший в мире город, расположенный за Север-

ным полярным кругом, в зоне распространения многолетней мерзлоты. Город покоится на скалистом восточном побережье Кольского залива Баренцева моря, в 50 км от выхода в открытое море, в 1967 км к северу от Москвы и в 1448 км от Ленинграда».

На улице ни день, ни ночь, но именно та предвечерняя пора — очей очарованье, когда в портовом ресторане — стекляшке призывными маяками зажигаются огни.

— Вздрогнем? — Ливик Генделист щелкнул себя по кадыку.

Я пожал плечами:

— Если Родина прикажет, пацаны ответят — «есть!».

Но излишнюю инициативу за полярным кругом поостерегся проявлять. Для этой цели предназначались спутники.

За компанию с нами «тушка» закинула в моржовый край первого помощника капитана Якова Харламова, стармеха танкера «Юрмала», на морском сленге — «деда» Семена Огневецкого, старпома — «чифа» Алексея Рогычаева, который сразу после прибытия удалился по каким-то своим неотложным делам. В Мурманске нам предстояло встретиться с капитаном судна Владимиром Гальфериным. А где встретиться — не уточнялось. И без того координаты были ясны. Порт. Административное здание морского пароходства. Второй этаж, а там — заведение известного типа, где питательные мясные калории неразлучны с предательскими-алкогольными.

Здесь и состоялась наша встреча.

Войдя в ресторанный зал, я чуть ли не обомлел. Полярная ночь! Сплошняком — черные форменки моряков торгового флота, а промеж них ни одного привлекательного цветового пятна, платица что ли. Лицом к входной двери, у окна, потолок подпирает юбилейный вождь — картина из учебников для начальной школы — Ленин на броневике. В черном зале и Ленин, разумеется, тоже в черном. Стоит он в черном пальто, развивающемся под штормовым ветром, на крыше черного броневика. Левая рука цепко зажимает черную кепку. Правая тычет пальцем в небо, указывает впечатлительным клиентам направление. Внизу печатными буквами выведено: «Правильным путем идете, товарищи!».

Что ж, Мурманск — не Рио де Жанейро. Да и не Рига — маленький Париж янтарного края. Такого избыточного изобилия черного цвета у нас даже в Интерклубе не встретишь. Кругом — пестрота от инвалютных нарядов девушек с факультета иностранных языков. А тут черные мундиры, черные тужурки, черные галстуки. Орнамент — черные усики или черные шкиперские бороды. В ярком свете люстры — черный дым свирепых кубинских сигарет «Портагос», либо трубок кустарного производства от ленинградского мастера Петрова, благоухающих амстердамской «Амфорой». Смесь запахов, кулинарных и табачных, достойная плодовиного пера Хемингуэя. И все это великолепие пропитано притягательными водочными парами. Так что эффект полный: еще не подойдя к стойке, испытываешь неистребимое желание напиться.

Впрочем, стойки и не было в наличии. Была эстрада на четыре стула и поюпитра. Но без оркестра. Были официантки. Две голенастые подавальщицы, в белых фартучках на черных, в обтяжку, платьях и кружевных накрахмаленных коронах на завитых головках.

Были столики. Десятка два-три. Все заняты, кроме первого. Первый стоял напротив входной двери, под портретом Ильича, указывающим нам верный путь. По негласным правилам, как мне думается, за этим столиком набираться до кондиции возбранялось. Поэтому сознательные люди и сторонились его, оставляя свободным для малопьющих. В Мурманске малопьющих не было. Это и вызвало к нам повышенный интерес.

Сначала, как положено, со стороны официантки Машеньки, в черном платье в обтяжку и белом фартучке.

— Что будем пить? Что будем есть?

Она очень удивилась, когда, заказав обед, мы снарядили под него всего один графинчик коньяка, грамм по сто на трезвого человека. Под кофе, так сказать, для мажору.

Потом интерес к нам перекочевал к двум длинноногим девушкам, явившимся неведомо откуда, возможно, из кухни — и сразу попросившимся под наше крылышко, будто мы из подвида тех залетных птиц, что носят золотые яйца. Яйца же у нас были обычные, и не для заклада в ломбард. Плеснув в их рюмки, я даже начал было читать одной из девушек стихи собственного приготовления: «А я тебя еще не встретил, не знаю, что тому виной, порывистая, словно ветер, еще не узнанная мной...».

Ливик Генделист тоже попытался намекнуть, что именно эту девушку он не встретил. Но особенно не выставлялся. Ситуация у него, в отличие от меня, была сложная: не повыпендриваешься, будучи рядовым коком, в окружении капитана, первого помощника и стармеха. А комсоставу, при подчиненном коке и неподчиненном «третьем глазе — журналисте», тоже не до заигрываний с прекрасными незнакомками. Так что девушки могли бы для своих прогулок подальше выбрать закоулок, здесь — «непрохонже».

Потом интерес к нам принял совсем неожиданную форму. И выразил его матерый мореход преклонных арктических лет. Местный, массивный, как шкаф, капитан. И столь же малоподвижный. Направляясь в туалет по малой нужде своего просоленного в штормах организма, он, качнувшись, остановился у нашего столика. Развернулся всем корпусом и, указав пальцем на капитана Гальферина, недоуменно провозгласил: «Еврей — моряк!» Подумал секунду, обкатывая во рту вкусовое слово. И снова, с тем же недоумением: «Еврей — моряк!».

И — тишина! Тишина, таящая взрывоопасную искру отчуждения в участвовавших табачных выхлопах под потолком. «Еврей — моряк!» Подумаешь! Ну и что в том такого? Чем тебе не по нутру, что еврей? Отчего тебя воротит? Видеть в нем равного себе — вот что тебе не по душе. Оттого и остановился. Оттого и пальцем показал, недоумевая. Как это так? Еврей, и не завмаг, не продавец газированной воды. Моряк! А какой из еврея моряк, когда он еврей?

Во мне мгновенно сработала боксерская реакция. И я, резко встав во весь свой невеликий рост, четко выложил:

— Заткнись, антисемитская морда!

И — еще более глубокая тишина. Теперь уже полнейшая тишина и за нашим столиком.

Что такое капитан на судне? Это фельдмаршал, это министр, это непререкаемый хозяин твоей жизни.

Матерый мореход преклонных арктических лет стал жадно хватать воздух, будто сердце его зашкаливало. В глазах высветилось непонимание, переходящее в помрачение рассудка: «Как это так? Ему? Ему — капитану! Ему — морскому волку! И кто? «Салага» двадцати с лишним лет?» Вот это — «кто?» — и перебороло его открытое желание разорвать меня на части, уступило место — страху. «Кто?» — читалось в его глазах, когда он медленно поворачивался и, тяжело неся себя, двинулся в туалет по малой — теперь и большой — нужде своего просоленного в штормах организма.

Девушки, напросившиеся к нам в компанию, как — то незаметно слиняли. Недочитанные стихи, типа — «Еще не узнанная, где ты? Как долго мне осталось ждать?» — выветрились из головы.

Мы выпили по коньяку и закусили спрессованным в пахучую табачную лепешку воздухом.

Напряжение в ресторанном зале росло. Представьте себе, вы в питейном заведении, и нигде вокруг не слышно ни заздравных тостов, ни бульканья разливных пив-

ных бутылок, ни постукивания вилки, гоняющейся по дну тарелки за маринованным грибочком. И тут к нам подошел рослый, под два метра, моряк с лычками старпома. И обратился напрямую ко мне, как бы не замечая моих спутников:

— Почему ты оскорбил моего капитана?

Я опять встал в полный рост, отнюдь не впечатляющий: метр, шестьдесят три см. Доставал всего лишь до плеча своего противника. И машинально, уподобляясь одесским предкам, ответил через стол вопросом на вопрос:

— А почему он оскорбил моего капитана?

Капитан Гальферин поднял на меня глаза. И дал мне прочитать в них нечто такое, что мог понять именно я, и никто другой. Я и понял. Но сказать, что понял, был не вправе никому, и в первую очередь старпому с «вражеского» судна. А он, видя мою непримиримость и не постигая умом, что за «высшая воля» диктует мне столь наглое поведение, предложил выяснить отношения наедине — за его столиком.

Провожаемый, как в покойницу, я не подавал виду, что вмазался в пренеприятную историю. Чем она способна закончиться при пьяных разборках? Это одному черту известно. Но при любом раскладе, со смертельным исходом, либо с элементарным мордобитием, на повестку дня выставлено: быть или не быть. Моя козырная карта — еврейская честь, его — виза моряка заграничного плавания.

Мы угнездились за столиком.

— Степан Антонович,— представился мурманский моряк.

— Ефим Аронович,— ответил я.

— Я здесь — по делу. В море, без малого, двадцать лет хожу.

— Мили на километры мерим?

— Что?

Насмешка «западника» смутила арктического волка.

— Чиф! — повысив голос, старпом назвал свою должность на морской манер.

— Специальный корреспондент газеты «Водный транспорт», журналов «Морской флот» и «Вымпел».

В последнюю секунду меня осенило — на чем играть. Моя козырная карта для партнера по игре в «быть или не быть», разумеется, не в том, что я еврей, и не в том, что я из «Латвийского моряка». Убийственно для него могут прозвучать только центральные московские издания «Водный транспорт», «Морской флот», «Вымпел», где я и впрямь довольно часто печатался.

По беспокойству, промелькнувшему в расширенных от гнева зрачках Степана Антоновича, я увидел: попал в точку. Больше всего «загранички» остерегаются встреч в поддатом состоянии с вьедливыми журналистами: слово за слово, и мордой сунешься по пьянке в фельетон, выпадешь в бичи, как в осадок, а то и визы лишишься.

— Машенька! — позвал Степан Антонович пробегающую мимо официантку.— Коньяка!

С некоторым изумлением Машенька посмотрела на него, человека, по всем алкогольным статьям, скорее водочного направления в искусстве веселия на Руси, но, припомнив, что и мы не портвейн заказывали, кивнула:

— Несу! — и поспешила в буфет.

За нашим столом тягостно затягивалась минута молчания.

На исходе минуты появилась Машенька. С бутылкой.

— Вот, Степан Антонович... Что заказывали...

Старпом разлил по граненым стаканам: себе и мне.

— Будем! — сказал.

— Будем! — ответил я.

В жизни я еще никогда не выпивал разом полный стакан коньяка. Мог опростоволоситься. Не допить. Поперхнуться. Слезы от избытка горячительных градусов

пролить. Но честь еврейская была дороже. Выпил. Посмотрел на старпома. Он посмотрел на меня. Потом на Машеньку, которая, будто в ожидании второго отделения концерта, не отходила от нас.

— Машенька,— сказал старпом.— Повторить!

— Несу!

Еще одна минута тягостного молчания медленно разменивалась на секунды за нашим столиком. И вдруг я осознал: эта тишина, как заразная болезнь, передалась всем зрителям ресторанный представления. Причем, с той же непостижимой силой, как прежде, когда было произнесено: «Еврей — моряк!».

Автор этого высказывания, кстати, так и не возвращался. За него «горбатился на швартовке» Степан Антонович.

— По второй! — сказал он, и опять разлил поллитровку. Опять на два стакана, вровень, до краев.— Будем!

— Будем! — ответил я, чувствуя всей душой, что мой питьевой подвиг никто не оценит, и более того, впоследствии «никто не узнает, где могилка моя» — ведь предстояло подниматься на танкер «Юрмала» не у причала, по переходному мостику, а в открытом море, по свисающему за борт шторм-трапу.

Выпив второй стакан, я услышал:

— Ты свой парень!

Я был еще трезвый. Я еще трезво ответил:

— Я свой! — и повернулся к официантке: — Машенька!

Машенька тут же откликнулась:

— Несу!

Третью бутылку по стаканам разливал я. И ни капли не пролил.

— Будем?

— Будем! — ответил Степан Антонович.— А о чем ты будешь писать в свою газету? Про нашу встречу будешь?

— Про нашу встречу не буду.

— Правильно, Ефим Аронович! Что тут писать: выпили — поговорили. А о чем будешь? Про моего капитана будешь?

— Не буду про твоего капитана!

— Правильно, Ефим Аронович! Что тут писать: выпил — поговорил, заснул небось в сортире. А о чем будешь?

— Про своего капитана писать буду.

— Правильно, Ефим Аронович, пиши про своего капитана. А чем он знаменит?

— Напишу — узнаешь.

— Правильно, Ефим Аронович! Нам не к спеху. Пусть только не обижается на «еврей-моряк».

— А он и не еврей! Еврей — наш «дед» Семен Огневецкий.

— Что?

Тайна капитана Гальферина заключалась в том, что, располагая специфической еврейской внешностью, он был русским. И не только по паспорту, но и по воспитанию. (Это я знал от его друга детства Изи Манова, с кем прежде работал на заводе №85 ГВФ.) Но еврейская внешность досталась капитану Гальферину не случайно. Наследственно перешла к Владимиру Александровичу внешность еврейская.

Его родителей расстреляли в Бабьем Яру. 29 сентября 1941 года.

Он же в тот день родился заново.

Из очереди евреев, идущих по киевским улицам к смерти, его вытолкнул Изя Манов.

Добрые люди подхватили беглеца, спрятали, уберегли от доносчиков. А потом и усыновили. И он вырос в русской семье, приняв национальность спасителей. Да и как

могло быть иначе в оккупированном Киеве? Скажи кому ненароком, что прячешь еврейского ребенка, и сам окажешься в могильной яме. Вот и не сказали, вот и вырастили, отдали в мореходку и вывели в люди. И совсем не для того, чтобы какой-то другой русский человек, демонстративно указывая на него пальцем, говорил во всеуслышанье: «Еврей — моряк!»

Не для того...

6

На причале, у выхода из ресторана-стекляшки, я оказался в довольно подпитом состоянии, и поначалу даже не заметил, что остался один. Где мои спутники? — задумался я. И вспомнил: когда в гардеробе облачался в утепленное пальто моего брата Бори и брал на плечо походную сумку с вещами, капитан Гальферин сказал... Что? Нечто вроде:

— Мы должны оформить портовую декларацию, судовые документы. Скоро вернемся.

Как долго двигалось это «скоро» трудно было понять. И не с чем было соразмерить.

Ни день, ни ночь. Электрический свет фонарей. Ритмичный плеск воды. Пологие волны медленно, словно при рапидной съемке, накатывались на каменную кладку. Захлестывали ее, ничем не огражденную от моря, и острыми язычками старательно тянулись к какому-то странному сооружению, фанерно-плакатного типа — о двух металлических ногах, с панорамой города по нижнему краю и белыми пятнами, изображающими северное сияние поверху. В центре, чуть ниже Ленинского профиля, скопированного с Юбилейной медали, либо с ее близняшки-монеты рублевого достоинства, шел крупногабаритный текст, своеобразная памятка для въедливых туристов.

«Пишем?» — мелькнуло в мозгу.

«Пишем! — откликнулось на хмельную нотку под Ливика Генделиста — На первую полосу!».

И я вытащил из кармана блокнотик и шариковую ручку.

Вот эта запись.

«Планы устройства портового города за полярным кругом появились в 70-х годах XIX века. Первые изыскатели пришли на Мурман для разведки новых мест в 1912 году. Известный географ Федор Литке, побывавший в Кольском заливе летом 1822 года, писал, что его берега в южной части покрыты «березовыми и еловыми рощами». Город возник во время Первой мировой войны. Черное и Балтийское моря были заблокированы неприятелем. Чтобы иметь возможность бесперебойно доставлять военные грузы от союзников по Антанте, Россия спешно строила железную дорогу от Петрозаводска на Мурман и одновременно порт на незамерзающем Кольском заливе.

Летом рабочие жили прямо под открытым небом, зимой, несмотря на заполярную стужу, в липких, насквозь продуваемых бараках. В пищу получали тухлую солонину и непропеченный хлеб из негодной муки. Страдали цингой. Скалистую землю долбили киркой и лопатой. «Мурманка», как называли Мурманскую железную дорогу, в буквальном смысле слова уложена на тела людей, погибших от непосильного труда, голода, холода и болезней.

Вот поэтому, когда здесь прозвучали ленинские слова — «мы не рабы!», весь народ в едином порыве избрал социалистический путь переустройства общества и пошел в революцию».

Пхай-пхай! С каллиграфией, наконец, справился. Буковки туда-сюда, будто под градусом, но смотрятся-читаются. Пальцы заоченели. В мозгах сумбур. Накатилось тягостное ощущение внезапного сиротства. Торчишь, как гвоздь, на берегу коварного

Кольского залива. Столкнуть тебя, как говорится, «за борт» — плевое дело. В особенности для тех, кому море по колено. После принятия на грудь трех стаканов коньяка, море и мне глубоким показаться не должно. Но я и по пьяной лавочке помнил предостережения старых разбойников пера из нашей газеты: в арктической купели долго не продержишься — пять минут до разрыва сердца. Сердцу же моему не разрыва, а любви хотелось.

— А я тебя еще не встретил! — вырвалось недочитанное в ресторане стихотворение.

— Кого? — вдруг послышалось сзади, из фойе.

Я обернулся. За распахнутой стекляшкой-дверью клубилась беличья шубка. Над ней беличья шапка внушительных размеров.

— Вы ко мне? — спросил я.

Шубка ответила:

— За вами.

— Кто послал?

— Капитан Гальферин. Он вас на пирсе ищет — не доищется. За нами буксир пришел. А вы — в отлучке.

— Не в отлучке, — я машинально воспротивился явной несуразице. — Я за дверью.

— Не за той дверью, — пояснила мне девчушка. — Вы не в ту дверь тиснулись.

— Все двери одинаковы, — пожал я плечами. — А как вас зовут?

— Янат.

— Таня!

— Почему Таня?

— Справа налево будет — Таня.

— Вы читаете справа налево?

— Подражаю Леонардо да Винчи, с его «зеркальным» письмом. Но только, когда вижу красивых девушек.

— Тех, кого еще не встретили?

— Именно. В их присутствии у меня глаза справа налево скашиваются.

— И ходите, куда глаза глядят — налево?

— Сначала я девушкам акrostихи пишу.

— А это что такое?

— Вот встречу и объясню.

— Тогда поторапливайтесь.

— А где свиданка?

— На борту танкера «Юрмала». Свидимся — не заблудимся. Акrostих с вас! Я вестовая и дневальная по камбузу.

— В подручных, выходит, у Ливика Генделиста?

— Пойдем, пойдем... Там разберемся...

Буксир-тихоход, забитый пассажирами, как городской автобус в часы пик, развозил моряков по судам, стоящим на рейде. На нем мы и задымили в запредельную даль, призывно подмигивающую звездочками навигационных огней.

«В тумане скрылась милая Одесса», а если не по песне, то портовой Мурманск. На горизонте проглядывались обводы танкера «Юрмала». Он был из породы «двадцатитысячников» — двадцать тысяч тонн водоизмещением, таких как «Алуksне», «ИмантСудмалис», полученных Латвийским морским пароходством относительно недавно. Приветливым ориентиром светился фонарь на клотике. Желтыми глазницами выставлялись иллюминаторы. Мокрая веревочная лестница с деревянными плашками-перекладинами свисала за бортом, над которым приплясывал от озноба вахтенный в объемистом бушлате.

Мое внимание заиклилось на шторм-трапе. И мало-помалу озноб палубного матроса передался мне. «Интересно, какая тут глубина?» Впрочем, утопленнику без разницы: в Марианской впадине он захлебнулся, или в бассейне для оздоровительных процедур. «Свалишься в арктическую воду и каюк: пять минут до разрыва сердца», — опять вспомнились наставления излишне серьезных людей из нашей редакции. А как тут сердцу не разорваться, если и впрямь грозит ухнуть к рыбам на дно. Коварный сюрприз состоял в том, что буксир и не думал швартоваться к теплоходу. Он по-бычьи тыкал автомобильной крышкой, установленной на носу для смягчения удара, в покатый борт теплохода, затем по инерции отваливал на несколько метров назад, чтобы без промедления опять двинуться на приступ. И так с постоянством клинического идиота. Взад-вперед! Взад-вперед!

Как я усмотрел по действиям попутчиков, прыгать на шторм-трап нужно было со звериной ловкостью и непременно в промежутки между тычком и отходом нашего мелкого суденышка.

Показать страх мне, морскому журналисту, было неприлично. Но я понимал, что выпитый коньяк ведет во мне свою подпольную и, надо полагать, сволочную работу. Моя боксерская реакция — единственная спасительница в столь конфузный момент — способна подвести. Но что делать? Вместо меня никто не прыгнет. Ни капитан Гальферин, ни первый помощник Харламов, ни стармех Огневецкий, ни Ливик Генделист. Пока я «соображал об этом на одного», они — первый, второй, третий — и принялись прыгать. Зрелище выразительное: реальность, а смотрится все, как на черно-белом экране в продуваемом сквозняком деревенском кинотеатре. Я бы добавил еще: в эпоху «Великого немого».

В серой полумгле вырастает металлический борт теплохода. Легкий тычок автомобильной крышки, пружинистый отход кормой, вода вскипает пузырьками пены на расстоянии метра между буксиром и танкером. Теперь не зевать. Прыжок. Зацеп. Вертикальное перемещение рук-ног. Довольное: «Оки-доки!» И голос вахтенного: «Следующий!»

Следующим был я. Во мне три стакана коньяка. На мне теплое, но широковатое, следует признаться, пальто брата Бори, на плече сумка с вещами. Я и прыгнул. В нужный момент. По велению боксерской реакции. Она же меня и подвела, подлая. Подвела в тот, совсем уже «не нужный момент», когда я находился в воздухе, между носом буксира и бортом «Юрмалы». Должно быть, я оттолкнулся от буксира излишне сильно, и в следующую секунду моя сумка, подчиняясь инерции, соскользнула с плеча. «Там фотоаппарат!» — ахнуло в мозгах. И я инстинктивно прихватил свой багаж правой рукой. Дальше? Дальше я, все еще находясь в воздухе, осознал, что пропал. Свободной у меня оставалась только левая клешня, и если я не ухвачусь за веревочную лестницу, то питательный корм рыбам обеспечен. И надо же, ухватился. Причем так намертво, что подтянул свое шестидесятикилограммовое тело на одной левой руке, чего в обычной жизни и представить себе не мог, почувствовал опору под ногами, укрепился на перекладине, перекинул лямку сумки через голову и тяжело вскарабкался на судно.

Долго ли находился я в полете между буксиром и танкером? Две-три секунды? Но то, что рассказано, помню до мелочей. Странно, но психологически объяснимо. И как памятно! Хотя и не птица, а видел будто бы все с птичьего полета. Стоит закрыть глаза, и сейчас все это представляется чередой черно-белых кадров — «лихой кинчик!».

Как могло вместиться в мою бедную головушку такое количество мыслей и переживаний за мельчайший отрезок времени? Не мне судить. Говорят, что в момент клинической смерти перед человеком таким же незатейливым образом проходит кинохроника всей его жизни. Моя кинохроника содержит всего несколько кадров — прыжок над морем, с буксира на борт «Юрмалы». И снималась без всякой клиниче-

ской смерти самой выверенной оптикой — глазом журналиста, который полагал себя в будущем и писателем.

7

Проснулся я в каюте с ощущением невыполненного долга. Какого? Акростих! — осенило.

По выверенной привычке, очнувшись после сна, я не выскочил из постели, поэтому и восстановил тут же во всех мелочах вчерашний день и встречу с прекрасной незнакомкой Янат — Таней, которой пообещал стихи.

Пообещал — сделай! Сделаешь — вручишь. Вручишь... Впрочем, не стану строить планы на будущее. Мы и сегодня еще не разобрались в ситуации. Поначалу, конечно, следует осмотреться в каюте. Две койки, две тумбочки, один иллюминатор на противоположной стене. Сбоку от него фотка, на ней какой-то чеканный профиль. Ни дать, ни взять, Ливик Генделист: вытянутый нос, заостренный подбородок. Но странно, в шлеме со шпилем. Дикие дивности с этим Генделистом. Он и не он вовсе. Артист! Ну, конечно, играл, наверное, в каком-нибудь самодеятельном театре латышского богатыря Лачплечиса. Вот и отчеканили на память.

Память... Моя так устроена, что если что-то ее зацепит, то не успокоюсь, пока не вспомню. Фотография и зацепила. Ливик на ней, не Ливик, но, определенно, где-то я видел эту героическую мордворенцию. Но где? Точно, в редакции! А еще точнее, в фотолаборатории, у Гунара Ливена. Демонстрируя фотку, он говорил: «Переснял в этнографическом музее. По просьбе одного моряка с «Юрмалы». Парень утверждал, что на чеканке не кто-нибудь, а прямой его предок Лив — Отважное Сердце. По прозвищу «Лев». По преданию, он правил прибрежными территориями Рижского залива в тринадцатом веке».

Правил ли могучий Лив — Отважное Сердце прибрежными территориями, либо всего лишь рыболовецкой артелью, не чуравшейся и пиратского промысла, это одному Богу известно. Но чего от латвийского помора не отнимешь, внешне он здорово смахивает на Ливика Генделиста, словно одна мама их родила. Правда, у моего приятеля Ливика, если порыться в его семейных тайнах, укрываемых от отдела кадров, мама — чистых еврейских кровей, а вот у его предка вряд ли. Хотя кто их знает, этих доисторических мам. Самая доисторическая — Ева. А ее, хотя она вообще по национальности никем не значилась, почему—то считают еврейкой. Но вернемся из райского сада на песчаные дюны янтарного края, к древнему воителю. От кого ему досталась такая кликуха «Лев»? Может быть, он получил ее не в честь царя зверей, чуждого флоре Рижского залива, а подлинно во славу собственного отважного сердца? Секретов не держим: «сердце» на иврите созвучно со словом «лев» на русском языке. Вот и гадай, кто дал герою давнего эпоса прозвище: латыш, русский, немец или еврей? По всему видать, без евреев здесь не обошлось. А как они добрались до Юрмалы в ту глухую пору, когда еще электричка из Риги на взморье не ходила, это не моего ума дело. И без того столько вокруг несуразностей, что диву даешься. Зачем мне лишняя путаница в голове? Лучше стишок для девушки сочиню, просто так, для освежения мозгов да взаимного удовольствия. Где мои рабочие инструменты? Вот мои рабочие инструменты! Блокнотик кладем на тумбочку, раскрываем на чистой странице и давай выстраивать именные буквы сверху вниз.

Я
Н
А
Т

Буковки выстроил, архитектор-затейник. Пора и вдохновением обрасти, рвануть

по строчкам, как по кочкам. Вдохновение — верное средство против похмелья. Проверено: мин нет! Итак? Пишем? Пишем!

Я... Я встретил вас и все былое...

Э, нет, так не годится.

Зайдем с другой буквы. Н... Никогда я не был на Босфоре...

Черт! Кто это втемяшил мне в башку, что вдохновение — верное средство против похмелья?

Я заглянул в тумбочку, стоящую у койки. Обнаружил на верхней полке бутылочку из-под йода, грамм на пятьдесят, ярлыком к ней была прицеплена бумажка с надписью: «Лекарственная настойка. Перед употреблением не взбалтывать. Градусов не прибавит». Отодрал резиновую пробочку, приняухался. Не йод, разумеется, оставил мне Ливик Генделист. А что? Это придержим в секрете, так как на судне после поднятия якоря — «сухой закон».

Якорь подняли — это чувствовалось по усиливающейся качке и рокоту двигателей.

Якорь подняли — отныне на борту пить нельзя.

Нельзя, так нельзя! Но, честно признаться, хочется. К тому же вдохновению «сухой закон» не писан. Никак не раскачается оно, поддатое со вчерашнего вечера вдохновение, пока температуру не поднимет до сорока. Глоток, второй. Температура и подскочила. Итак? Пишем? Пишем!

Я...

Я в поздний час вас встретил на причале.

Н...

Ночь. Ресторан. Фонарь дымит свечой.

А...

Ассолью вас хотел назвать вначале,

Т...

Таинственную Гриновской мечтой.

Ну, и хотел. А что дальше? Где логическое завершение? Акrostих есть, а стихотворения не видно.

Дальше? А что, если дальше дадим акrostих на ее оборотное имя? Будет, действительно, оригинально: Янат — Таня.

Т

А

Н

Я

Т... Теперь я знаю, вы звались Татьяной...

Нет! Попытка вторая.

Т...

Теперь мне ведомо, Янат вы и Татьяна.

А...

Астральной чайкою парите под луной.

Н...

Навечно ваш! В каких бы ни был странах,

Я...

Я с вами мысленно, вы мысленно со мной.

